

# ПАСТЕРНАКОВСКОЕ ПОЛЕ

Продали, разделив на доли,  
овраг, святой источник скрытный  
и пастернаковское поле  
под вип-застройку, рай элитный.

Где надышала ночь туманы,  
простоволосая, босая,  
заборы встали, будки, краны,  
рубя пространство и кромсяя.

И странно – привкусом измены  
стал даже ветер мазать губы:  
контейнеры, времянки, стены,  
бульдозеры, столбы и трубы.

Лицо пейзажа, как от боли,  
скукожило, перекосило,  
и ангелов земли и воли  
загнал монтажник под стропила.

К утру они своей бедою  
с небесной делятся артелью:  
прикрой нас дымкою седою,  
в снега зарой, смешай с метелью.

И льдом задрай все дыры, норы,  
а для победной укоризны  
яви завьюженные горы  
и первозданные белизны!

И пусть корявый можжевельник  
с кустом Синайским ищет сходство.  
И пусть почует вип-насельник,  
Чьё царство тут и Чьё господство!

## ВЫМЫСЕЛ

Себе придумав родословную:  
«Дед — князь из рода Дадиани»,  
обиду подгоняешь кровную  
под бурю чувств в твоём стакане.

И, якобы, в придачу к титулам —  
таков рассказ твой сокровенный —  
был дед назло семейным идолам  
рукоположен в сан священный.

И, якобы, в дорогу узкую  
увлёк с собой он, сгрёб в охапку  
одну танцовщицу французскую,  
княжну — твою родную бабку.

Грузин, а в храме католическом  
он обвенчался, но с налёта  
ты в трепете своем мистическом  
твердишь про «кирху» отчего-то...

Твой странный блеск между ресницами  
профанов мажет по сусалам  
несбыточными небылицами  
и сном о веке небывалом!

Конечно, в мире столько грязи и  
следов мышинового злодейства,  
что хочется нырнуть в фантазии,  
и в княжества, и в лицедейства.

Судьбу безвольную, безликую  
стереть, переиначить главы  
и написать многоязыкую  
историю любви и славы.

Чтоб жизни — норова сурового —  
подать на бедность из кармана:  
из эпоса средневекового,  
из авантюрного романа.

И древнегреческой трагедии  
играя нервом оголённым,  
пропасть совсем в чужом наследии  
с желанием неутолённым!

## «ТЕАТР»

День проводили честь честью и встретили  
ночь, и вступили в шеол...

Только актеры пока не заметили:  
зритель последний ушёл.

Тщатся, стараются — жестами, мимикой  
обворожить, обаять...

Пафосом, эпосом, икосом, лирикой  
сердце могли б надорвать.

Только ответом им злая, гремучая  
в зале пустом — тишина.  
Речка подземная, струйка горячая  
да перетянутая струна.

Выйдешь на воздух — сплошная обочина,  
глушь, да задворки, да тьма.

Ветер свистит:  
— Ваша пьеса окончена,  
так не сходите с ума!

Ваша Гертруда, как девка, торгуется...  
В Гамлеты метит крепыш,  
да под Офелию всё гримируется  
сорокалетняя мышь.

Кончен спектакль — и иссякли желания:  
зрители спят до трубы.  
Что ж не уймется вся ваша компания,  
всё — «бу-бу-бу», «бы-бы-бы»?

Тут монолог вековечный заученный  
все начинают твердить:  
— С этой вот сцены бесценной, замученной  
некуда нам уходить!

Будем до смерти играть — то раскручивать  
жизни пружину, то рвать:  
правых оспаривать, мёртвых озвучивать,  
вместо упавших — вставать.

# УРИЯ

Когда любовным треугольником ты сдавлен и закрыты шлюзы,  
а ты в ночной тоске невольником блуждаешь вдоль гипотенузы;  
и с этой внутренней бурей сражаешься ты, как галерник,  
особенно когда ты — Урия и царь Давид — тебе соперник;

и от бессилия, беславия ты, словно вспорот, перекоен:  
всё спуталось — война, Вирсавия, и муж обманутый, и воин...  
И в этих образах двоящихся ты — резь в глазу и жало в горле,  
чтоб тысячи к стене мочащихся тебя из Книги Жизни — стёрли!

Как ни крути, как ни развязывай, — всё выйдет зло, и боль, и битва,  
и драма, и беда, и с язвами луна, бессонница, молитва...  
И царь тебя своей десницею пошлёт за гибелью внезапной,  
но взыщет Бог с него сторицею: «Где воин Урия? Где раб мой?»

...Вот отчего кимвала славного раскаты в поле сиротливом,  
и от лица героя главного метель поёт псалмы с надрывом.  
И поднимается от пения всё на воздусях с солнцем красным.  
И — жаль всего: любви, смятения, всего, всего — с лицом прекрасным!

## ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК

«Что приключилось с ним?» «Чума! —  
всплакнула мать, скорбя, —  
он утром встал, сошел с ума  
и вышел из себя».

И он пошел на красный луч,  
пошел на синий глаз  
и понял разговоры туч  
и дерева рассказ.

Язык земли и речь осин,  
и куст цеплял его  
словами: «В мире ты один!  
Нет больше никого!»

И мир ему сквозь скрип телег,  
сквозь плеск дождей и рек  
кричал: «Ты — первый человек!  
Последний человек!»

И всё пространство темноты,  
и луч, в глазах рябя,  
ему твердили: «Только ты,  
никто, кроме тебя!»

А эти люди и дома,  
вороны, муравьи, —  
лишь порождение ума,  
лишь помыслы твои!

И солнце, и покров дождя —  
рисует страсть твоя:  
она — то в образе вождя,  
то в образе червя.

И даже мать из слез и слов,  
хлебов, закатов, роз —  
лишь персонаж волшебных снов,  
обрывок детских грёз.

Сработаны на твой заказ  
вся эта плоть и жечь.  
И если ты умрешь — тотчас  
погибнет что ни есть.

И люд, и град, и свет, и рай —  
дары твой любви:  
поэтому — не умирай,  
поэтому — живи!»

Он слышит выпь, он видит сныть,  
туманы поутру,  
и говорит он: «Так и быть!  
Тогда я не умру!»

Сжимая пальцы, на ветру,  
с лица стирая пот,  
вновь говорит: «Я не умру!  
Я буду, буду, вот!»

Он слышит эхо: « Не умру!»,  
он рвётся из сетей,  
он гонит в чёрную дыру  
зарвавшихся чертей.

И Смерть за косу ухватив,  
кричит, огнем горя:  
«Балда! Ты есть, пока я жив  
и мне благодаря!»

## ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА

В тысяча девятьсот восемнадцатом от Рождества Христова году  
Генерал Алексеев в температурном бреду  
Борется с инфлюэнцией, затыкает ей рот: молчи же!  
Давит ей на глазные белки,  
Рвёт на ней струны, выдирает с мясом колки:  
Ладонь у него в крови, и в печени у него грыжа!

Но жар плавит мозги, скукоживаются в огне,  
Свиваются черным дымом, сливаются в вышине  
Золотокудрый ангел, всадник на черном на коне  
И Государь император — самодержец Российский,  
Польский, Финляндский, Казанский.

Впрок

Жара нагнали, кровь стучится в висок,  
И генералу на грудь давит крест мальтийский.

И Государь перед ним как вживую — атлант, гигант:

«Ваше превосходительство, генерал-адъютант,  
Вы хоть не предадите?»

И словно жало:

«Вы ж не из хриstopродавцев! Не тать, не зверь!»

«Ваше величество, полно, к чему теперь?» —

Так отвечает кто-то голосом генерала.

Генерал Алексеев кончается!

Тиф, пневмония, круп.

Он смотрит и смотрит в небо, как пруд, как труп,

Не моргая, руки по швам и убиты нервы.

Только отблеск кровавый из-под открытых век —

Там горят синим пламенем девятнадцатый век,

И двадцатый век и век двадцать первый.

Там горят Предел Богородицы, Царский род,

Юнкера, офицеры, солдаты, крестьянский сход,

Круг казачий, хохляцкий шлях, иерейское сердце,

И дворянские идеалы — и стать, и масть,

И купечества честное слово, и почвы власть,

И монашеский дух хриstopлюбца и страстотерпца.



...Догорай, умирай и воскресни!

В знак этой вины

Осаждай снова Плевну, пройди три стены, три войны,

У черты роковой помолись Приснодеве Марии,

Доложи Государю: «Подавлены бунтовщики,

И пожары потушены, и при параде полки

Царской армии генерала от инфантерии!».

## ТЕЛО И ДУША

Разве мучает себя лес? Терзает ли себя сад?

Волк — занимается ли самоедством, лось — прыгает ли в огонь?

Жалит ли себя змея, глотая собственный яд?

Топит ли себя цапля? Топчет ли себя конь?

Бодает ли себя бык? Колет ли себя ёж?

Играет ли на своих нервах сверчок? Прыгает ли в колодец мышь?

Только ты, тело, напролом против смысла прёшь,

Только ты, душа, против солнца встала, глядишь!

Кличет ли к себе саранчу спеющий виноград?

Призывает ли на себя град зрелая рожь?

Только ты, тело, — души своей супостат,

Только ты, душа, печень свою клюёшь!

Носит ли в себе гнев — соловей и зависть — пчелиный рой?

Пилит ли себя дерево? Пьёт ли свой мозг барсук?

Только ты, тело, при жизни смерть кормишь собой!

Только ты, душа, при жизни мертвеешь вдруг!

## «ТРИ БОГАТЫРЯ»

С. Ф.

На переднем плане три пары ног лошадиных, шесть вертикалей,  
и притом ни одна из кобыл не взбрыкнёт,  
не ударит в землю копытом,  
этакий частокол — колонны Большого театра,  
однообразье деталей,  
кони самодостаточны, унылы, сыты.

Да и богатыри под стать им — скучны, безъязыки.  
Латами скрыты тела, головы — шлемами, всё условно,  
хоть и вовсе закрась им лица — будут также безлики,  
словно знаки иль манекены — все поголовно.

Пусть бы хоть Алёшка Попович махнул кудрями,  
иль Добрыня Никитич врагу показал дулю,  
да Илья Муромец бы изобразил бровями:  
он-де слышит птицу вещую — кукующую зозулю...

Но слишком высока линия горизонта, заземля картину...  
Не хватает неба, воздуха, свинцовыми облаками  
заволакивает головы, и богатырям в спину  
утыкается пространство лбом и всеми руками...

Там — зеленоватые холмы затаились, скрадывая и пряча  
выделку доброй кольчуги леском, дымкой увитым.  
А на переднем плане — яркие разноцветные клячи  
верхovenствуют своим колоритом!

Никто не отбрасывают теней... Ни спереди, ни слева, ни справа  
свет не бьёт наотмашь, чтоб заслонять рукой, и отныне  
хрестоматийная эта банальность очевидна и величава  
лишь для школьника в сочинении по картине.

Но особенно ударяет в глаза контраст оранжево-синий.  
Это Поповича оранжевые порты и синеющая рубаха.  
Это иссиня-черный корпус коня, это из вертикальных линий  
жёлтый сапог — охрою бьёт с размаха.

И от этой выставки модной обуви — броской и разнопёрой,  
Рембрандт ворочается в гробу, вот-вот вовсе перевернётся,  
а меж тем пейзаж, подавленный монументами, шевелит хворой  
травой, манит изгибом леса, на волю рвется...

...Так мне друг мистик растолковывал жизнеподобья  
ложь и лукавство, когда оно замахнулось  
на сакральность мифа...  
Лишь булава да копыя,  
да коней копыта, да плавных холмов сутулость.